

К 100-летию со дня рождения Б. Л. Пастернака

Свеча горит...

Что ни говорите, а наша перестройка уже становится историей. Сел писать вот эту самую статью к 100-летию Бориса Пастернака и вдруг как ударило: да ведь три года назад, а точнее 19 февраля 1987 г., секретариат правления Союза писателей СССР отменил свое же, почти тридцатилетней давности, постановление об исключении Пастернака из членов СП СССР. Три года прошло, а ощущение такое, будто это было совсем недавно. Стал разбираться: в чем дело? Откуда такое ощущение? Сформулировалось так. За эти три года Пастернак

глубже, плотнее, что ли, вошел в нашу духовную сферу. Это положительная, радующая сторона. Но есть и грустное наблюдение: как растянулась, однако, наша перестройка, если быстрое три года назад кажется вчерашним событием...

Впрочем, жива память и о том давнем, происходившем осенью 1958 года. Это память семнадцатилетнего, жадного до книг читателя, зашедшего сразу трех или четырех библиотек. Почему-то среди заполонивших газеты «откликов трудящихся» («Я роман «Доктор Живаго» не читал, но считаю необходимым заявить...») особенно запомнилось коллективное письмо собравшихся по перу. Оно начиналось: «Борис Леонидович! Помню, что именно это обращение, без привычного «уважаемый», как-то наглядно продемонстрировало мне богатство способов профессионального отторжения человека. Да, писатели должны были показать начальству, что они не уважают Пастернака. И показали... По сути предали Поэта. Согласно традиции, требовалось продемонстрировать «идеологическое единство» и «на местах». И в нашей белорусской писательской газете (о чем я узнал много позже) появилась в ту пору соответствующая статья о «черных крумках».

«Доктор Живаго» — само название романа в тех газетных статьях и речах на собраниях звучало именем какого-то монстра, воплощением жуткой антисоветщины. Разумеется, и Нобелевскую премию наши враги за рубежом присудили не зря...

Вот так приходил к нашему поколению Пастернак — в страшной личине антисоветчика. И ведь что любопытно: идут сейчас обильные публикации о Пастернаке и о нем, но как стойки, как намертво приклеи-

лись в сознании людей идеологические наклепки. Существует своего рода «отрицательный» идеологический коктейль (Пастернак, Солженицын, Сахаров), воздействие которого ощутимо и сегодня. Стоит вспомнить только реакцию на выступления Сахарова на Съезде народных депутатов... Отсюда и письма в издательства, редакции, инстанции — зачем печатаете, пропагандируете?

И сегодня есть попытки использовать эту отраву — но уже со своим, шовинистическим уклоном: какой, мол, Пастернак русский поэт?

Что ж, вспомним в эти юбилейные дни о корнях, об истоках этого удивительного духовного, художественного феномена, известного всему миру под звучным именем — Борис Пастернак.

Пастернак — дитя московской интеллигенции. Не только потому, что отец был известным художником, мать — пианисткой, что в их доме бывали Лев Толстой, Скрябин, Горький, Васнецов, Ключевский... Дело в пронизанном духовностью московском быте конца XIX — начала XX веков. Том самом быте, из которого вышли и Брюсов и Цветаева... Удивительное время! Такое ощущение, что Россия готовилась к невиданному прыжку в какое-то прекрасное будущее. И вот в преддверии, предвосхищении этого прыжка произвела, родила множество прекрасных детей — в искусстве, литературе... А в промышленности, технике, науке? Не буду называть имен. Список будет чересчур длинен — от Горького и Саввы Морозова до Шалапина и Шагала.

Открытость и восприимчивость русской культуры, ее глубочайший гуманизм, впитавший христианскую нравственность, отнюдь не находились в противоречии с многообразием духовных проявлений, а, напротив, как бы поощряли их.

Россия стояла перед новыми формами своего бытия — политического, духовного. Это ощущение мучило уже героев Чехова. Молодой писатель Константин Треплев говорит в «Чайке»: «Нужны новые формы». И молодой Пастернак, как и чеховский герой, болен этой «высокой болезнью» — поисками не просто новой формы, но прежде всего самой действительности, сущности которой он с максимальной образной адекватностью стремился воплотить в поэтическом слове.



Прислушайся к гулу раздолбанных
Прислушайся к бешеной их
Расскальзывающейся артиллерии
Тарелками ластится к отзвукам
ветра.

Это из образов первой мировой войны. Но пока поэзия не стала главным инструментом познания мира, Пастернак ищет себя на близких к ней путях. Он закончил философское отделение историко-филологического факультета Московского университета (1913 г.) и пытался продолжить образование в знаменитой философской школе Германа Когена в Марбурге. Еще гимназистом он занимался музыкой очень серьезно и даже готовился сдать экстерном на композиторском факультете консерватории. А живопись... Ни одно из увлечений не прошло бесследно, органически влившись в поэзию и прозу Пастернака, в творчество, ставшее не профессией, а единственным способом существования.

Помню, как студентом, впервые открывшим для себя Пастернака, я с каким-то трепетным чувством приобщения к невероятному, один в комнате, читал вслух:

Оростки ливня грязнут
И долго, долго, до зари
Кропают с кровель свой
Пуская в рифму пузыри.

Поэзия, когда под краном
Пустой, как цинк ведро,
То и тогда струя сохранила,
Тетрадь подставлена, —
струисы!

Нутром я чувствовал, что в этой какой-то запредельной экспрессии и заключена потрясающая тайна поэзии. И вновь, как шаман, повторял:
Кропают с кровель свой
акростих...

Пастернак заволаживал. Эта ворожба и была главным, притягивающим к Пастернаку в юности. Глубина чувства и мысли увиделись, почувствовались позже. Не только с годами, но и с многократным чтением. Да, Пастернак требует читательских усилий. Но не в смысле усидчивости. Требуется тот каждодневный труд души, о котором сказал Заболоцкий в известных строках. И вот уже метафорическую усложненность, экспрессивную насыщенность стиля воспринимаешь как свое, ни на что не похожее воспроизведение мира.

Зовите это как хотите,
Но все кругом одевший лес
Бежал, как повести развитье,
И сознавал свой интерес.

Он брел не фауной фазаньей,
Не сказочной осанкой снал,
Он сам плелся, как описание,
Он что-то знал и сообщал.

Он сам повествовал о плене
Вещей, вводимых не на час,
Он плыл отчетом поколений,
Служивших за сто лет до нас.
Где, у кого мы читали такое
о лесе? Эта устремленность к самой сути вещей, к незахватанной чужими руками, к незатертой разменными метафорами первооснове поэтического видения мира позволила Пастернаку сказать о сделавшем его известным сборнике «Сестра моя — жизнь» (1922 г.): «...мне стало совершенно безразлично, как называется сила, давшая книгу, потому что она была больше меня и поэтических концепций, которые меня окружали».

Наверное, эта пастернаковская революция в языке поэзии заставляла Маяковского увлеченно цитировать его стихи.

Говорят, Сталин как-то сказал своим подручным: «Не трогайте этого небожителя». Быть может, он считал, что в созданном им литературном заповеднике должен произрастать и такой дикий цветочек. Для разнообразия картины. Но наверняка и с тайным помыслом: не лживым же бездарям воспеть по-настоящему его эпоху? Оттого и допытывался у Пастернака в телефонном разговоре об арестованном Мандельштаме: «Он мастер? Мастер?»

Еще совсем недавно, развивая по сути сталинские представления, писали об аполитичности, созерцательности поэзии Пастернака. И все только потому, что не находили в ней привычных деклараций. Но у Пастернака были свои отношения со временем. Он определял их в эпике (поэмы «Де-

вятысот пятый год», «Лейтенант Шмидт», «Спекторский») и в лирике. Устанавливал свои, глубинные связи, протекавшие опять же из особого понимания поэзии как формы жизни, неподвластной сиюминутной стихии. И когда эта стихия подступала, что называется, к горлу, он мог написать, как в 1931 году:

Напрасно в дни великого
Где высшей страсти отданы
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

Но — «большое видится на расстоянии». Может быть, теперь, в наши перестроечно-тревожные дни, яснее становится, чем была в действительности «созерцательная» поэзия Пастернака. В годы сталинской мертвечины она-то, оказывается, как и поэзия Ахматовой, защищала достоинство человека, его неподвластность казарменному быту и духовному обольщению.

В эпоху разнузданной литературной фальши, псевдолитературы Пастернак остался для мыслящего читателя связным, протягивавшим этому читателю руку из отвергнутой сталинизмом русской культуры, а через нее и мировой (вспомним его переводы из Шекспира, Гете, Шиллера, Рильке, Словацкого...).

И позже он напоминал нам о ценностях, что выше сиюминутных («Быть знаменитым некрасиво...»).

Говорят и пишут, что Пастернак поздний, послевоенный, был строг, чуть ли не отрицал себя молодого, сложного игравшего со словом. Да, есть на этот счет и признания самого Бориса Леонидовича. Есть и переписанные им ранние стихи. Любим цитировать мы и эти строки:

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте,
До сущности протекших дней,
До их причин,
До оснований, до корней,
До сердцевин.

Да, есть мудрый, пушкинский прозрачный поздний Пастернак. Как не вздрогнуть душе от цикла, посвященного Марине Цветаевой. И от этого, «нобелевского»:

Я пропал, как зверь в загоне,
Где-то воля, люди, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет.

Но и в этом «позднем» слышу отзвуки стиля фантастического по своей выразитель-

ности, зажигающего кровь у всякого чуткого к поэтическому слову. И уверен, что еще не одно поколение «юношей бледных, со взором горящим» будет повторять и «Опять Шопен не ищет выгод...», и «Пир», и строки из «Разрыва»:

А в наши дни и воздух
пахнет смертью:
Открыть окно, что жили
отворить.

Пусть спорят критики и читатели о том, что такое «неслыханная простота» у Пастернака. Но есть поэзия, и она говорит сама за себя.

И есть проза Пастернака, которую трудно отделить от поэзии. Проза помогает понимать его стихи. Появилась, наконец, возможность прочитать «Доктора Живаго», и какая-то часть читателей была разочарована. Они, вероятно, думали, что это что-то вроде «Детей Арбата». На это, по крайней мере, провоцировала громившая «нечитанный» роман присяжная критика. А дело пришлось иметь читателю с прозой поэта, рассчитанной на медленное чтение, на постепенное вхождение в его мир. Тогда только и можно понять, что такое для Пастернака Россия и судьба русской интеллигенции, что такое он сам в этой судьбе — трагической, жертвенной. Но и оставившей после себя, нам в наследство, свечу. Колеблется пламя...

Наверное, не случайно сборник своих переводов из Пастернака, который вот-вот выйдет в издательстве «Мастацкая літаратура», Рыгор Бородулин назвал словами из известного стихотворения, ставшего популярным романсом, — «Свеча горела...» Еще до войны Пастернака переводили у нас Анатолий Астрейка, Алексей Дудар, затем Сергей Дергай. И вот целая книга переводов с параллельными текстами на русском. Ее предвзвешивает стихотворение Бородулина «Перекладаючи Барыса Пастернака», из которого, с разрешения автора, привожу одну строфу:

Ён над вершам панам
запануе,
Бо радкі складаліся
наўзрыдзь.
Я Паэту ціха прапануе
Беларускай мовай гаварыць.

Как тут не вспомнить слова Пастернака, сказанные на писательском пленуме в Минске в 1936 году и обращенные к Янке Купале и Якубу Коласу: «...принесу им сердечную благодарность за их существование, за то, что они такие чистые, настоящие».

Читаем Пастернака на его родном языке и на белорусском. Узнаем, открываем Поэта. Горит свеча...

Семен БУКЧИН.